

О БОГДАНОВИЧЕ И ЕГО СОЧИНЕНИЯХ

<в сокращении>

Басня Психеи есть одна из прекраснейших мифологий и заключает в себе остроумную аллегорию, которую стихотворцы затмили наконец своими вымыслами. Древняя басня состояла единственно в сказании, что бог любви сочетался с Психеею (душею), *земною* красавицею и что от сего брака родилась *богиня наслаждения*. Мысль аллегории есть та, что душа наслаждается в любви божественным удовольствием. Апулей, славный остроумец и колдун, по мнению народа римского, сочинил из нее любопытную и даже трогательную сказку, совсем не в духе греческой мифологии, но похожую на волшебные сказки новейших времен. Лафонтен пленился ею, украсил вымысл вымыслами и написал складную повесть, смешав трогательное с забавным и стихи с прозою. Она служила образцом для русской *Душеньки*; но Богданович, не выпуская из глаз Лафонтена идет *своим* путем и рвет на дугах цветы, которые укрылись от французского поэта. Скажем без аллегории, что Лафонтеново творение полнее и совершеннее в эстетическом смысле, а *Душенька* во многих местах приятнее и живее, и вообще превосходнее тем, что писана

стихами; ибо хорошие стихи всегда лучше хорошей прозы; что труднее, то имеет и более цены в искусствах. Надобно также заметить, что некоторые изображения и предметы необходимо требуют стихов для большего удовольствия читателей и что никакая гармоническая, цветная проза не заменит их. Все чудесное, явно несбыточное, принадлежит к сему роду (следственно и басня *Душеньки*). Случаи неестественные должны быть описаны и языком необыкновенным; должны быть украшены всеми хитростями искусства, чтобы занимать нас повестью, в которой нет и тени истины или вероятности. Стихотворство есть приятная игра ума и богаче обыкновенного языка разнообразными оборотами, изменениями тона, особливо в вольных стихах, какими писана *Душенька*, и которые, подобно английскому саду, более всякого правильного единства обнаруживают ум и вкус артиста. Лафонтен сам это чувствовал и для того не редко оставляет прозу; но он сделал бы гораздо лучше, если бы совсем оставил ее и написал поэму свою от начала до конца в стихах. Богданович писал ими, и мы все читали его; Лафонтен — прозою и роман его едва ли известен одному из пяти французов, охотников до чтения. Правда, что есть люди, которые не любят стихов, так же, как другие не любят музыки и прекрасных женщин; но такая антипатия есть чрезвычайность, и мы из учтивости ничего не скажем о сих людях!

Желая *украсить гроб* сего любезного поэта *собственными* его *цветами*, напомним здесь любителям русского стихотворства лучшие места *Душеньки*. Она не есть поэма героическая; мы не можем, следуя правилам Аристотеля, с важностью рассматривать *ее басню, нравы, характеры и выражение их*; не можем, к счастью, быть в сем случае педантами, которых бояться грации и любимцы их. *Душенька* есть легкая игра воображения, основанная на одних правилах нежного вкуса, а для них нет Аристотеля. В таком сочинении все правильно, что забавно и весело, остроумно выдуманно, хорошо сказано. Это, кажется, очень легко — и в самом деле не трудно — но только для людей с талантом. Пойдем же, без всякого ученого масштаба, вслед за стихотворцем; и чтобы лучше ценить его дарование, будем сравнивать *Душеньку* с лафонтеновым творением.

Мы уже говорили о том, что Богданович не рабски подражал образцу своему. Например, в самом начале он весьма забавно описывает доброго царя, отца героини,

Который свету был полезен,

Богам любезен;

Достоин награждал,

Достоин осуждал;

И если находил в подсудных злые души,

Таким ослиные приклеивал он уши;

Завистникам велел, чтоб счастье других

Скучало взорам их,
 И не могли б они покоем наслаждаться;
 Скупым определил у золота сидеть,
 На золото глядеть,
 И золотом прельщаться,
 Но им не насыщаться;
 Спесивым предписал с людьми не сообщаться,
 И их потомкам в казнь давалась та же спесь.
 Какая видима осталась и поднесь.

У Лафонтена нет о том ни слова. И как все приятно сказано! Как перемена стихов у места и счастлива! Любезное имя, которым Богданович назвал свою героиню, представляет ему счастливую игру мыслей, которой Лафонтен мог бы позавидовать:

Звалась она *Душа* по толку мудрецов,
 А после, в повестях старинных знатоков.
 У русских *Душенькой* она именовалась,
 И пишут, что тогда
 Изыскано не без труда
 К ее названию приличнейшее, слово,
 Которое еще для слуха было ново.
 Во славу *Душеньке* у нас от тех времен
 Поставлено оно народом в лексиконе
 Между приятнейших имен,
 И утвердила то любовь в своем законе.

Это одно гораздо лучше всякого подробного описания душенькиных прелестей, которого нет ни у Богдановича, ни у Лафонтена, ибо они не хотели говорить слишком обыкновенно. Жалобы Венеры в русской поэме лучше, нежели во Французской сказке, где она также в стихах <...>

<...> Богданович и мыслями и выражениями побеждает опасного совместника. Он гораздо приличнее заставляет Венеру, что *сам Юпитер* может жениться на *Душеньке*, а не лучший из смертных красавцев, от которого нельзя было родиться второму Купидону. Стихи: *ты знаешь, как сыны Юпитеровы смелы; и столь худою и столь дурною; и мучила себя, жестокого любя* живы и прекрасны; Лафонтеновы только изрядны, кроме: *sans le tenir de vos traits, ni de vous**, где одно сказано два раза для наполнения стиха. Венерино шествие у Лафонтена эскиз, у Богдановича картина. Первый сказал: *l'un (Тритон) lui tient un miroir fait de cristal de roche***, а второй:

Несет отломок гор кристалльных
 На место зеркала пред ней.
 Сей вид приятность объявляет
 И радость на ее челе.
 «О если б вид сей, он вещает,
 Остался вечно в хрустале!»
 Но тщетно он того желает!
 Исчезнет сей призрак как сон;
 Останется один лишь камень — и проч.

* Не получивши это ни от ваших черт, ни от вас (фр.).

** Один держит перед ней зеркало из горного хрусталя (фр.).

Лафонтен говорит: Thétis lui fait ouïr un concert de Sirenes.* *Богданович:*

Сирены, сладкие певичцы,
Меж тем поют стихи ей в честь,
Мешают с былью небылицы,
Ее стараясь превознестъ.

Сама Фетида их послала
Для малых и больших услуг.
И только для себя желала,
Чтоб дома был ее супруг!

...Так стихотворцы с талантом подражают. Богданович не думал о словах лафонтеновых, а видел перед собою шествие Венеры и писал картину с натуры.

Что француз остроумно говорит прозою, то русский не менее остроумно и еще милее сказал в стихах...

Ужасы душенькина путешествия изображены во французской сказке как действительные ужасы, а в русской с приятною шутильностью:

Там все при каждом шаге
Встречали новый страх:
Ужасные пещеры,
И кверху крутизны,
И к бездне глубины.
Иным являлись там Мегеры,
Иным летучи Дромадеры,
Иным драконы и Церберы.

Царевнина кровать
В руках несущих сокрушилась.
И многие от страха тут
Не мало шапок пороняли,
Которы на похват драконы пожирали.
Иные по кустам одежды изодрали,
У наготы имея вид,
Едва могли прикрыть от глаз сторонних стыд.
Осталось наконец лишь несколько булавок
И несколько стихов Оракула для справок.

Надобно быть в весьма дурном расположении, чтобы не засмеяться от двух последних стихов. Мы не жалеем, что стихотворец наш предпочел здесь важному описанию карриатуры: она хороша.

...В изображении палат с их драгоценностями я люблю статую Душеньки:

Смотря на образ сей, она сама дивилась;
Другая статуя казалась в ней тогда,
Какой не видывал никто и никогда.

* Фетида дает возможность ей услышать концерт сирен (фр.).

Черта прекрасная! Взята с французского (*elle demeure longtems immobile, et parut la plus belle statue de ces lieux*);* но выраженная в стихах, более нравится... Люблю также разные живописные изображения Душеньки:

В одном она:

...С щитом престрашным на груди,
Палладой наряжаясь, грозит на лошади,
И боле, чем копьём, своим прекрасным взором.

В другом видим перед нею Сатурна, который:

Старается забыть, что он давнишний дед,
Прямит свой дряхлый стан, желает быть моложе.
Кудрит оставшие волос своих клочки
И видеть Душеньку вздевает он очки.
А там она видна, подобясь царице,
С амурами вокруг, в воздушной колеснице.
Прекрасной Душеньки за честь и красоту
Амуры там сердца стреляют на лету,
Летят великою толпою;
Летят, поднявши лук, на целый свет войною.
А там свирепый Марс, рушитель мирных прав,
Увидев Душеньку, являет тихой нрав:
Полей не обагряет кровью,
И, наконец, забыв военный свой устав,
Смягчен у ног ее, пылает к ней любовью.

На третьей картине Зефир списывает с нее портрет, не боясь нескромности:

Скрывает в списке он большую часть красот;
И многие из них, конечно, чудесами
Пред Душенькою вдруг тогда писались сами.

Всего же более люблю обращение поэта к красавице:

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша:
По образу ль какой царицы ты одета,
Пастушкою ли где сидишь у шалаша,
Во всех ты чудо света;
Во всех являешься прекрасным божеством,
И только ты одна прекраснее портрета.

Просто и так мило, что, может быть, никакое другое место в Душеньке не делает в читателе столь приятного впечатления. Всякому хочется сказать сии нежные, прекрасные стихи той женщине, которая ему всех других любезнее; а последний стих можно назвать золотым <...>

...Умея быть нежным, забавным, он умел и колоть — даже кровных своих, то есть стихотворцев. Вводя Душеньку в Амурову библиотеку, он говорит:

Царевна там взяла читать стихи;
Но их читаючи, как будто за грехи,

* Она оставалась долго неподвижной и казалась самой красивой статуей этих мест (фр.).

Узнала в первый раз мучительную скуку,
 И бросив их под стол, притом зашибла руку.
 Носился после слух, что будто, наконец,
 Несчастных сих стихов творец,
 Указом Аполлона
 Навеки согнан с Геликона;
 И будто Душенька, боясь подобных *сук**,
 Иль ради сохранения рук,
 Стихов с неделю не читала,
 Хотя любила их и некогда слагала.

Сей несчастный, согнанный с Геликона, был, конечно, не похож на Богдановича, которого Душенька с удовольствием могла бы читать даже и тогда, как он с пиитической искренностью описывает лукавство ее в гибельную ночь любопытства. Злые сестры уговорили ее засветить лампаду во время сна Купидонова:

Прекрасна Душенька употребила тут
 И хитрость и притворство,
 Какие свойственны женам,
 Когда оне, дела имея по ночам,
 Скорее как-нибудь покой дают мужьям.
 Но хитрости ль ее в то время успевали,
 Иль сам клонился к сну от действия печали:
 Он мало говорил, вздохнул,
 Зевнул,
 Заснул.

Это напоминает один из славнейших стихов в *Lutrin* и стоит десяти прозаических страниц лафонтеновых.

В описании душенькиных бедствий некоторые черты также гораздо счастливее у Богдановича; например, трогательное обращение его к жалкой изгнаннице:

Умри, красавица, умри! Твой сладкий век
 С минувшим днем уже протек;
 И если смерть тебя от бедствий не избавит,
 Сей свет, где ты досель равнялась с божеством,
 Отныне в скорбь тебе наполнен будет злом
 И всюду горести за горестями представит.
 К несчастною тебя оставил Купидон;
 Твой рай, твои утехи,
 Забавы, игры, смехи,
 Прошли как будто сон.
 Вкусивши сладости, кто в мире их лишился,
 Любя с любимым разлучился,
 И радости себе уже не чает впредь,
 Легко почувствует, без дальнейшего слова,
 Что лучше Душеньке в сей доле умереть.

Стихотворец наш, описывая с Лафонтеном все образы смерти, избираемые Душенькою, прибавляет от себя еще

* Скука не употребляется у нас во множественном числе.

один, не весьма пиитический, но игриво и забавно им представленный:

Избрав крепчайший сук, последний шаг ступила
И к ветви свой платок как должно прицепила.
И в петлю Душенька головушку вложила.
О чудо из чудес!
Потрясса дол и лес:
Дубовый, грубый сук, на чем она повисла,
С почтением к ее прекрасной голове
Пригнулся так, как прут,
И здраву Душеньку поставил на траве:
И ветви все тогда, наниз влекомы ею,
Иль сами волею своею,
Шумели радостно над нею.
И, съединяючи концы,
Свивали разны ей венцы.
Один лишь наглый сук за платье зацепился,
И Душенькин покров вверх остановился:
Тогда увидел дол и лес
Другое чудо из чудес!

Вольность бывает маленькою слабостью поэтов; строгие люди давно осуждают их, но снисходительные многое извиняют, если воображение неразлучно с остроумием и не забывает правил вкуса. Когда горы и леса, видя *чудо*, восклицали, что Душенька всех на свете прекраснее,

Амур, смотря из облаков,
Прилежным взором то оправдывал без слов!

Поэту хотелось сказать, что Душенька прошла *сквозь огонь и воду*, и для того он заставляет ее броситься в пламя, когда Наяды не дали ей утонуть в реке:

Лишь только бросилась во пламя на дрова.
Как вдруг невидимая сила
Под нею пламень погасила,
Мгновенно дым исчез, огонь и жар потух.
Остался только лишь потребный теплый дух,
За тем, чтоб ножки та царевна осушила.
Которые в воде недавно замочила.

Это смешно, и рассказ имеет всю точность хорошей прозы. Лафонтен для разнообразия своей повести вводит историю философа-рыболова. В Душеньке она могла бы только остановить быстроту главного действия. Сказки в стихах не требуют множества вымыслов, нужных для живости прозаических сказок. Богданович упоминает о старом рыбаке единственно для того, чтобы Душеньке было кому пожаловаться на ее несчастье <...>

В обращении Душеньки к богиням всего забавнее представлена важность Минервы, которая, занимаясь астрономическими наблюдениями и хвостами комет, с презрением говорит бедной красавице:

Что мир без Душеньки стоял из века в век,
Что в обществе она не важной человек,
А паче как хвостом комета всех пугает,
О Душеньке тогда никто не помышляет.

Богданович хотел осмеять астрономов, которые около 1775 года, если не ошибаюсь, пугали людей опасностью кометы. Но должно признаться, что о ревливой Юноне Лафонтен говорит еще забавнее русского стихотворца. Вот его слова: «Пастушке нашей не трудно было найти Юнону. Ревливая жена Юпитерова часто сходит на землю, чтобы осведомляться о супруге. Псиша встретила ее гимном, но воспела одно могущество сей богини, и тем испортила дело свое. Надобно было хвалить ее красоту, и как можно усерднее. Царям говори об их величии, а царицам совсем об другом, если хочешь угодить им. Юнона отвечала, что должно наказать смертных прелестниц, в которых влюбляются боги. Зачем они таскаются на землю? Разве на Олимпе еще мало для них красавиц?» Богданович шутит только насчет юпитеровых метаморфоз; здесь Лафонтен тонее. Но скоро поэт наш берет верх, описывая ошибку людей, которые, видя в венерином храме Душеньку в крестьянском платье, считают ее богиней и шепчут друг другу на ухо:

Венера здесь тайком!
Венера за столбом!
Венера под платком!
Венера в сарафане!
Пришла сюда пешком!
Конечно с пастушком!

Здесь короткие стихи на одну рифму прекрасно выражают быстроту народных слов. И с каким любезным простосердечием говорит Душенька раздраженной Венере, «колена преклоня»:

Богиня всех красот! Не сетуй на меня!
Я сына твоего прельщать не умышляла,
Судьба меня, судьба во власть к нему послала.
Не я ищу людей, а люди в слепоте
Дивятся завсегда малейшей красоте.
Сама искала я упасть перед тобою,
Сама желала я твоею быть рабою.

Богданович поступил также гораздо милостивее с своею героинею, нежели Лафонтен, который заставлял Венеру немилосердо сечь ее розгами. Какое варварство! Русская Душенька *служит* только трудные, опасные *службы* богине, совершенно в тоне русских старинных сказок, и прекрасно; идет за живою и мертвою водою к змею Горынычу, и так хорошо, с женскою хитростью, ублажает его:

О змей Горынич, Чудо-Юда!
Ты сыт во всяки времена,

Ты ростом превзошел слона,
Красою помрачил верблюда;
Ты всяку здесь имеешь власть,
Блестишь золотыми чешуями,
И смело разеваешь пасть,
И можешь всех давить когтями!
Пусти меня, пусти к водам!

Богданович, приводя Душеньку к злому Кашею, не рассказывает нам его загадок: жаль! Здесь был случай выдумать нечто остроумное. Но автор уже довольно выдумывал, спешит к концу, отдохнуть на миртах вместе с своею героинею, и мимоходом еще описывает Тартар несравненно лучше Лафонтена. Как скоро Душенька показала там ногу свою, все затихло:

Церберы перестали лаять,
Замерзлый Тартар начал таять.
Подземна царства темный царь,
Который возле Прозерпины
Дремал с надеждою на слуг.
Смутился тишиною вдруг:
Возвысил вокруг бровей морщины.
Сверкнул блистаньем ярых глаз.
Взглянул... начавши речь, запнулся.
И с роду первый раз
В то время улыбнулся.

Сими прекрасными стихами заключаем нашу выписку. Амур соединяется с Душенькою, и Богданович, вспомнив аллегорический смысл древней басни, оканчивает свою поэму хвалою душевной, вечно неувядаемой красоте, в утешение, как говорит он, всех земных не красавиц.

Заметив хорошие и прекрасные места в *Душеньке*, скажем, что она, конечно, не вся писана такими счастливыми стихами; но вообще столь приятна, что благоразумный критик, чувствительный к красотам искусства и дарования (а суд других есть пустословие или злословие), не захочет на счет ее доказывать своей тонкой разборчивости и не забудет, что Ипполит Богданович *первый* на русском языке играл воображением в легких стихах; Ломоносов, Сумароков, Херасков могли быть для него образцами только в других родах.

Мудрено ли, что Душенька единогласно была прославлена всеми любителями русского стихотворства? Шесть или семь листов, с беспечно брошенных в свет, переменяли обстоятельства и жизнь автора. Екатерина царствовала в России, она читала Душеньку с удовольствием и сказала о том сочинителю, что могло быть для него лестнее? Знатные и придворные, всегда ревностные подражатели государей, старались изъяснять ему знаки своего уважения и твердили наизусть места, замеченные монархинею. Тогдашние стихотворцы писали эпистолы, оды, мадригалы в честь и славу творца Душеньки. *Он был на розах*, как говорят французы... Но мно-

гие блестящие знакомства отвлекли Богдановича от жертвенника муз в самое цветущее время таланта*, и венок Душеньки остался единственным на голове его. Хотя он и неувядаем, однако ж любители дарований не перестанут жалеть, что поэт наш им удовольствовался и не захотел новых. Он доказал, к несчастью, что авторское славолубие может иметь пределы. Правда, что Богданович еще писал, но мало, или с небрежением, как будто бы *нехотя*, или в дремоте гения. Иной сказал бы, что поэт, любя свою Душеньку, *хотел* оставить ей честь быть единственным, изящным творением его таланта <...>

Друзья Богдановича, которых он, однажды нашедши, не терял никогда, а еще долее любители русских талантов сохраняют его память, ибо творец *Душеньки* будет известен потомству как стихотворец приятный, нежный, часто остроумный и замысловатый.

<1803>

* Ему тогда было с небольшим 30 лет.
